

Владимир Фёдорович Одоевский

**Деревянный гость, или Сказка
об очнувшейся кукле и
господине Кивакеле**



Владимир Фёдорович Одоевский Деревянный гость, или Сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=335612
Владимир Фёдорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

Аннотация

«Пред нею находилось существо, которое назвать человеком было бы преступлением; брюшные полости поглощали весь состав его; раздавленная голова качалась беспрестанно как бы в знак согласия; толстый язык шевелился между отвисшими губами, не произнося ни единого слова; деревянная душа сквозилась в отверстия, занимавшие место глаз, и на узком лбу его насмешливая рука написала Кивакель...»

Владимир Федорович Одоевский Деревянный гость, или сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле

И так бедная кукла лежала на земле, обезображенная, всеми покинутая, презренная, без мысли, без чувства, без страдания; она не понимала своего положения и твердила про себя, что она валяется по полу для изъявления глубочайшего почтения и совершенной преданности. . . В это время проходил прародитель славянского племени, благородный мудрец, пасмурный, сердитый на вид, но добрый – как всякий человек, обладающий высшими знаниями.

Он был отправлен из древней славянской отчизны – Индии к Северному полюсу по весьма важному делу: ему надлежало вымерить и математически определить, много ли в продолжении последнего тысячелетия выпарилось глупости из скудельного человеческого сосуда и много ли прилилось в него благодатного ума.

Задача важная, которую давно уже решила моя почтенная

бабушка, но которую индийские мудрецы все еще стараются разрешить посредством долгих наблюдений и самых утонченных опытов и исчислений; не на что им время терять!

Как бы то ни было, индийский мудрец остановился над бедною куклою, горькая слеза скатилась с его седой ресницы, капнула на красавицу, и красавица затрепетала какою-то мертвою жизнью, как обрывок нерва, до которого дотронулся гальванический пруттик.

Он поднял ее, овеял гармоническими звуками Бетховена; свел на лице ее разноцветные красноречивые краски, рассыпанные по созданиям Рафаэля и Анжело; устремил на нее магический взор свой, в котором, как в бесконечном своде, отражались все вековые явления человеческой мудрости; и прахом разнеслись нечестивые цепи иноземного чародейства вместе с испарениями старого чепчика; и новое сердце затрепетало в красавице, высоко поднялась душистая грудь, и снова свежий славянский румянец вспыхнул на щеках ее; наконец мудрец произнес несколько таинственных слов на древнем славянском языке, который иностранцы называют санскритским; благословил красавицу Поэзией Байрона, Державина и Пушкина; вдохнул ей искусство страдать и мыслить, и – продолжал путь свой.

И в красавице жизнь живет, мысль пылает, чувство говорит; вся природа улыбается ей радужными лучами; нет Китайских жемчужин в нити ее существования, каждая блещет светом мечты, любви и звуков...

И помнит красавица свое прежнее ничтожество; с стыдом и горем помышляет о нем и гордится своею новою прелестью, гордится своим новым могуществом, гордится, что понимает свое высокое назначение.

Но злодеи, которых чародейская сила была поражена вдохновенною силой индийского мудреца, не остались в бездействии. Они замыслили новый способ для погубления славянской красавицы.

Однажды красавица заснула; в поэтических грезах ей являлись все гармонические видения жизни: и причудливые хороводы мелодий в безбрежной стране Эфира; и живая кристаллизация человеческих мыслей, на которых радужно играло солнце Поэзии, с каждой минутою все более и более яснеющее; и пламенные, умоляющие взоры юношей; и добродетель любви; и мощная сила таинственного соединения душ.

То жизнь представлялась ей тихими волнами океана, которые весело рассекала ладья, при каждом шаге вспыхивая игривым сферическим светом; то она видела себя об руку с прекрасным юношей, которого, казалось, она давно уже знала; где-то в незапамятное время, как будто еще до ее рождения, они были вместе в каком-то таинственном храме без сводов, без столпов, без всякого наружного образа; вместе внимали какому-то торжественному благословию; вместе

преклоняли колена пред невидимым алтарем Любви и Поэзии; их голоса, взоры, чувства, мысли сливались в одно существо; каждое жило жизнью другого, и, гордые своей двойной гармонической силою, они смеялись над пустыней могилы, ибо за нею не находили пределов бытию любви человеческой...

Громкий хохот пробудил красавицу, – она проснулась, – какое-то существо, носившее человеческий образ, было перед нею; в мечтах еще неулетевшего сновидения ей кажется, что это прекрасный юноша, который являлся ее воображению, протягивает руки – и отступает с ужасом.

Перед нею находилось существо, которое назвать человеком было бы преступлением; брюшные полости поглощали весь состав его; раздавленная голова качалась беспрестанно как бы в знак согласия; толстый язык шевелился между отвисшими губами, не произнося ни единого слова; деревянная душа сквозилась в отверстия занимавшие место глаз и на узком лбу его насмешливая рука написала Кивакель.

Красавица долго не верила глазам своим, не верила, чтобы до такой степени мог быть унижен образ человеческий... Но она вспомнила о своем прежнем состоянии, вспомнила все терзания, ею понесенные; подумала, что через них перешло и существо, перед нею находившееся; в ее сердце родилось сожаления о бедном Кивакеле, и она безропотно поко-

рилась судьбе своей; гордая искусством любви и страдания, которое передал ей Мудрец Востока, она поклялась посвятить жизнь на то, чтобы возвысить, возродить грубое униженное существо, доставшееся на ее долю, и тем исполнить высокое предназначение женщины в этом мире.

Сначала ее старания были тщетны: что она ни делала, что ни говорила Кивакель кивал головой в знак согласия – только: ничто не достигало до деревянной души его. После долгих усилий красавице удалось как-то механически скрепить его шаткую голову – но что же вышло? она не кивала более, но осталась совсем неподвижной, как и все тело.

Здесь началась новая, долгая работа: красавице удалось и в другой раз придать тяжелому туловищу Кивакеля какое-то искусственное движение.

Достигши этого, красавица начала размышлять, как бы пробудить какое-нибудь чувство в своем товарище: она долго старалась раздражить в нем потребность наслаждения, разлитую Природой по всем тварям; представляла ему все возможные предметы, которые только могут расшевелить воображение животного; но Кивакель, уже гордый своими успехами, сам избрал себе наслаждение: толстыми губами стиснул янтарный мундштук, и облака табачного дыма сделались его единственным, непрерывным, поэтическим наслаждением.

Еще безуспешнее было старание красавицы вдохнуть в

своего товарища страсть к какому-нибудь занятию; к чему-нибудь, об чем бы он мог вымолвить слово; почему он мог бы узнать, что существует нечто такое, что называется мыслить; но гордый Кивакель сам выбрал для себя и занятие; лошадь сделалась его наукою, искусством, поэзией жизнью, любовью, добродетелью, преступлением, верою; он по целым часам стоял, устремивши благоговейный взор на это животное, ничего не помня, ничего не чувствуя, и жадно впивал в себя воздух его жилища.

Тем и кончилось образование Кивакеля, каждое утро он вставал с утренним светом; пересматривал восемьдесят чубуков, в стройном порядке пред ним разложенных; вынимал табачный картуз; с величайшим тщанием и сколь можно ровные набивал все восемьдесят трубок: садился к окошку и молча, ни о чем не думая, выкуривал все восемьдесят одна за другою; сорок до и сорок после обеда.

Изредка его молчание прерывалось восторженным, из глубины сердца восклицанием, при виде проскакавшей мимо него лошади; или он призывал своего конюшего, у которого после глубокомысленного молчания, с важностью спрашивал:

«Что лошади?»

– Да ничего.

«Стоят на стойле? не правда ли?» – продолжал Господин Кивакель.

– Стоят на стойле.

«Ну-то то же...»

Тем оканчивался разговор и снова господин Кивакель принимался за трубку, курил, курил, молчал и не думал.

Так протекли долгие годы, и каждый день постоянно господин Кивакель выкуривал восемьдесят трубок и каждый день спрашивал конюшего о своей лошади.

Тщетно красавица призывала на помощь всю силу воли, чувства, ума и воображения; тщетно призывала на помощь молитву души – вдохновение; тщетно старалась пленить деревянного гостя всеми чарами искусства; тщетно устремляла на него свой магнетический взор, чтобы им пересказать ему то, чего не выговаривает язык человека; тщетно терзалась она; тщетно рвалась; ни ее слова, ни ее просьбы, ни отчаянье; ни та горькая, язвительная насмешка которая может вырваться лишь из души глубоко оскорбленной; ни те слезы которые выжимает сердце от долгого, непрерывного, томительного страдания ничто даже не проскользило по душе господина Кивакеля!

Напротив, обжившись хозяином в доме, он стал смотреть на красавицу как на рабу свою; горячо сердился за ее упреки; не прощал ей ни одной минуты самозабвения; ревниво следил каждый невинный порыв ее сердца, каждую мысль ее, каждое чувство; всякое слово, непохожее на слова, им произносимые, он называл нарушением законов Божеских и че-

ловеческих; и иногда – в свободное от своих занятий время, между трубкою и лошадью – он читал красавице увещевания, в которых восхвалял свое смиренномудрие и осуждал то, что он называл развращением ума ее...

Наконец мера исполнилась.

Мудрец Востока, научивший красавицу искусству страдать, не передал ей искусства переносить страдания; истерзанная, измученная своей ежеминутной лихорадочной жизнью, она чахла, чахла... и скоро бездыханный труп ее Кивакель снова выкинул из окошка.

Проходящие осуждали ее больше прежнего...

Эпилог

«... И все мне кажется, что я перед ящиком с куклами; гляжу, как движутся предо мною человечки и лошадки; часто спрашиваю себя, не обман ли это оптический; играю с ними, или, лучше сказать, мною играют, как куклою; иногда, забывшись, схвачу соседа за деревянную руку и тут опомнюсь с ужасом».